

АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН

ОСОБАЯ ПАПКА

Роман
Книга третья цикла
«Мальчик из сада»



Александр Ладоги

Особая папка

«Автор»

2026

Ладоги А.

Особая папка / А. Ладоги — «Автор», 2026

Двадцать шестое июня 1953 года. В Кремле арестован Берия, но страна узнает об этом только через две недели. А на берегу Оби столетний старик подходит к молодому мужчине и называет его по имени. Своим собственным. Это один и тот же человек. Ближе пяти шагов им нельзя: звенит в ушах, идёт кровь, встают часы. Всё, что случится с молодым, проступит шрамом на теле старика. В будущем, откуда пришёл старик, над Кремлём висит чужой флаг, а мать не узнаёт сына. Причина спрятана в особой папке Берии. Если до сентябрьского пленума она окажется не в тех руках, страна свернёт на другую дорогу. Папку ищут все. Но тот, кто играет против, тоже знает будущее. И он уже в Москве. Бункер под штабом округа, яма первого реактора, ночной кабинет на Старой площади, американское посольство с открытыми дверями. У старика осталась одна жизнь, почти прожитая. Он знает, на что её потратить. Третья книга цикла «Мальчик из сада».

© Ладоги А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	5
Глава первая. Двадцать шестое июня	6
Вера. Гвоздь	12
Глава вторая. Матвеев	13
Глава третья. Сосед	20
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Александр Ладоги

Особая папка

От автора

Эта книга начинается в пятницу, 26 июня 1953 года. Для большинства людей в Советском Союзе это был обычный летний день. В Новосибирске летел тополиный пух, на заводах работала первая смена, в газетах писали о сенокосе и надоях. О том, что в этот день случилось в Кремле, страна узнала только через две недели.

Как и в первых двух книгах, всё, что можно проверить, проверено: даты, должности, адреса, кто где стоял и кто что подписал. Там, где документы молчат, начинается роман. Источником бывает и молчание.

Тем, кто открывает цикл с третьей книги, нужно знать немного. Осенью 2026 года первокурсник истфака МГУ Арсений Ершов заснул на скамейке в Александровском саду и проснулся в сентябре 1944-го. Он прожил в прошлом целую жизнь под чужим именем и вернулся домой столетним стариком. Но прошлое, которое он когда-то сдвинул, продолжало двигаться без него. Однажды утром мать его не узнала, а над Кремлём поднялся чужой флаг. Тогда он снова сел на ту же скамейку.

В этой книге герой встречает самого себя. Чтобы читатель не путался, молодого мы называем так, как его зовут в пятьдесят третьем: Андреем. Старика зовём Арсением или просто стариком. Это один человек. Им обоим придётся к этому привыкнуть.

И ещё одно. Между Москвой и Новосибирском четыре часа разницы. В этой книге это важно.

Глава первая. Двадцать шестое июня



I

Новосибирск. 26 июня 1953 года.

Поезд подошёл к перрону в шестом часу утра. Старик сошёл последним, когда схлынула толпа с мешками и корзинами, и сразу посмотрел на вокзальные часы. Они показывали без двадцати два. Железная дорога по всей стране жила по московскому времени, и вокзальные стрелки отставали от города на четыре часа. Старик сверил с ними трофейные часы Лучко и перевёл их на местное. Два времени. Сегодня ему понадобятся оба.

Четверо суток в общем вагоне тело ехало, а голова работала. Он знал за собой эту особенность с молодости: чем хуже рукам и ногам, тем яснее думается. Сейчас тело просило одного, лечь. Колени не гнулись, сердце сбивалось на каждом третьем ударе, левая рука, на которой осенью проступили шрамы, немела до локтя. А голова была ясной и холодной, как вода в колодце.

Вдох на четыре. Выдох на шесть.

Этой ночью, на стоянке в Омске, он купил в вокзальном киоске общую тетрадь в клеёночной обложке. Последний лист вырвал и до рассвета писал на нём план. Восемь пунктов мелким почерком. Первый был короткий: «Река. 7:00».

Свой двадцать шестой день июня он помнил по часам. Ту неделю он работал во вторую смену, с четырёх. В такие недели он каждое утро уходил на Обь, на песчаную косу ниже того места, где строили мост, и плавал с семи до восьми. Один: все, кого он знал, в это время стояли у станков. Он помнил холод воды, которая в июне ещё не забыла лёд, помнил, как на том берегу перекликались мостовики. Память не подводила его ни разу за сто лет. Сегодня она была его единственным оружием.

Катер-перевоз, пахнувший соляжкой и рыбой, переправил его на левый берег вместе с женщинами, которые везли на базар молоко в бидонах. Старик сидел на корме и смотрел, как из воды поднимаются серые быки будущего моста. Через два года по нему пойдут трамваи. Если у страны будут эти два года.

К семи он был на косе. Сел на перевёрнутую лодку шагах в тридцати от воды и положил палку поперёк колен.

Андрей пришёл в начале восьмого. Высокий, светловолосый, в выгоревшей майке, с полотенцем на шее. Он разделся у кустов тальника, вошёл в воду не раздумывая и поплыл саженьками к середине реки, туда, где течение рвало воду в складки. Старик смотрел на него и не позволял себе ничего лишнего. Ни умиления, ни жалости. Только счёт: семь минут туда, семь обратно, ещё пять у кустов с полотенцем.

Андрей вышел из воды через пятнадцать минут. Растираясь, он скользнул взглядом по косе, по лодке, по старику на лодке, как по коряге, и отвернулся.

Не узнал.

Старик достал тетрадь и огрызок карандаша. Писал быстро, не отрывая грифеля: «26 июня 1953 года. Новосибирск. Я здесь». Ещё несколько строк, коротких, как телеграмма. Последнее слово подчеркнул дважды.

«Пока».

Потом он встал и пошёл к воде. На десяти шагах в ушах зазвенело, тонко, как проволока на ветру. Он ждал чего-то такого с той минуты, когда в двадцать шестом году на руке проступил первый шрам, и поэтому не удивился, а отметил: десять шагов. На шести звон стал гуще, часы на груди замолчали. Старик остановился.

Андрей обернулся на шорох гальки.

— Ершов, — сказал старик негромко. — Арсений Дмитриевич. Четырнадцатое марта две тысячи восьмого года.

II

Андрей замер с полотенцем в руках.

Девять лет никто не произносил этого имени целиком. Девять лет он был Андреем Сергеевичем Коржевным, тысяча девятьсот двадцать четвёртого года рождения, и привык к чужому имени, как привыкают к чужой шинели: сначала давит в плечах, потом не замечаешь. А год рождения, две тысячи восьмой, здесь не мог знать никто. Ни Бережной, ни Берия. Этот год не значился ни в одной бумаге, потому что для бумаг его ещё не существовало.

— Кто вы?

— Времени мало, — сказал старик. — Поэтому коротко. Сосед по комнате в общежитии: Тимур Сафин, Уфа, храпел и клялся, что не храпит. Пароль от телефона: один, четыре, ноль, три, ноль, восемь. А это ты получил в сорок шестом.

Он оттянул ворот рубашки. Слева на шее белел тонкий косой шрам. Нож у горла, подполковник Сомов. Андрей поднял руку к собственной шее. Шрам был там, где ему полагалось быть. У обоих.

Он шагнул вперёд, не думая, только чтобы рассмотреть. В ушах ударило, как в колокол. Из носа у старика побежала кровь, тонкой струйкой, на губу и на подбородок. У самого Андрея во рту стало солоно.

— Стой, — сказал старик, не повышая голоса. — Назад. Шесть шагов.

Андрей попятился. Звон отпустил на четвёртом шаге, на шестом стих совсем. Старик прижал к лицу платок и кивнул, как кивают, когда опыт прошёл как надо.

— Запоминай. Ближе пяти шагов нам нельзя. Долго рядом тоже нельзя: один не выдержит. Я знаю, который. — Он закатал левый рукав. На худой руке белели рубцы, свежие и старые вперемешку. — Это проступило на мне там, у нас, в двадцать шестом. Каждый раз, когда

здесь с тобой что-то случилось. Убьют тебя, меня не станет. Умру я, с тобой ничего не будет. Значит, беречь надо тебя. Это понятно?

— Понятно, — сказал Андрей, хотя понятно ещё не было ничего.

Он смотрел на старика и пытался увидеть в нём себя. Увидел не сразу. Сначала только старость: пятна на руках, восковую кожу, редкие белые волосы, которые шевелил ветер с реки. Потом брови, светлые, почти незаметные. Потом глаза. Серые, внимательные, они смотрели на него не как на внука и не как на чудо. Они смотрели так, как Бережной смотрел на карту: что здесь, сколько времени, где выход. Андрей узнал этот взгляд и поразился. Он не знал, что умеет так смотреть. Значит, научится.

Значит, доживёт.

Старик тоже смотрел. На мокрые плечи без единой отметины, кроме той, на шее. На руки, которые ещё не знали, что их ждёт. На лицо, в котором было столько уверенности, что его хотелось одновременно обнять и отругать. Старик не сделал ни того, ни другого. Он убрал платок в карман.

— Сенечка, — сказал он. Голос дрогнул один раз и выровнялся. — У нас один день. Сегодня днём в Кремле арестуют Берия.

III

Андрей сел на песок. Ноги не держали, и стыдиться этого было некогда.

Берия. Девять лет над ним была эта рука: тяжёлая, страшная, но рука. Берия знал, кто он и откуда. Его снимки, его тетради, его настоящее имя лежали в папках, к которым не подпускали никого. Сегодня эти папки останутся без хозяина. Через день, через два в них полезут чужие люди: следователи, прокуроры, новые начальники, которым захочется знать, что прятал старый.

— Ты понял, — сказал старик. Это был не вопрос. — Теперь слушай. По пунктам.

Листка он не достал. Он помнил его наизусть.

— Первое. Сегодня ты уезжаешь в Омск. Вечерним поездом. К Лучко.

— Почему Омск?

— Потому что в моей жизни тебя в Омске похитили. Этим летом. И вытащили живым: Бережной и Лучко. Это единственный город на свете, про который я знаю наверняка, что ты оттуда выйдешь. Про другие города я не знаю ничего.

— А если в этот раз не вытащат?

— В тот раз ты не знал, что тебя ждёт. В этот раз знаешь. Так лучше.

Андрей хотел возразить и не нашёл чем.

— Второе. Сегодня ночью я лечу в Москву. Самолётом, с посадками в Омске, Свердловске и Казани. Завтра к вечеру буду там.

— У тебя нет документов.

— Нет. Поэтому билет мне сделает Бережной. Ты позвонишь ему через час, с почты, и передашь две вещи. Фамилия: Матвеев, до Москвы я Матвеев. И место: дед ждёт у кассы аэропорта с девяти вечера. Пусть пришлёт своего человека с билетом и с бумагой, по которой меня посадят без паспорта. Мне Бережной не поверит, он вообще никому не верит, он проверяет. А тебе поверит, потому что проверял тебя девять лет.

— Почему Матвеев?

— Прадеда звали Иван Матвеевич. Чужую фамилию легко перепутать спросонья, а эту я не перепутаю.

— Третье. Зачем я лечу. — Старик помедлил, подбирая слова, первый раз за весь разговор. — Берия собирал бумаги на всех. На Маленкова, на Хрущёва, на остальных. Об этом потом писали историки, это не тайна. После ареста почти всё найдут. Не всё. Одна папка пропадёт. Если до сентября она попадёт в нужные руки, Хрущёва не выберут Первым секретарём.

Дальше страна поедет по другим рельсам. Через семьдесят лет эти рельсы приведут туда, где флаг синий, а мама меня не помнит.

— Откуда ты знаешь, что дело в папке?

— Я перебрал всё лето пятьдесят третьего по дням. Это самое узкое место. Здесь история висит на одной нитке, и кто-то за неё уже тянет.

— Кто?

— Четвёртое. Тимур здесь.

Андрей понял не сразу. Потом понял, и спину обдало холодом, хотя солнце уже грело.

— Он прошёл через дверь раньше меня. Насколько раньше, не знаю. Он знает всё, что знаешь ты, и всё, что было после. Примета такая: если кто-нибудь здесь назовёт тебя Сеней, это он или его человек.

— Пятое?

— Пятое. На заводе возьмёшь три дня за свой счёт. За прогул сейчас судят, а тебе нельзя попадать ни в какие бумаги. Скажешь Фёдору Игнатьевичу, что в Омске заболела тётка. Он отпустит, он добрый, хоть и орёт.

— У меня нет тётки в Омске.

— Теперь есть.

Андрей усмехнулся одной стороной рта, и старик ответил ему точно такой же усмешкой.

— Шестое, — сказал старик и перестал улыбаться. — Не умирай. Это главный пункт. Остальные можно провалить и переделать. Этот нельзя.

— А если умрёшь ты?

— Тогда доделаешь ты. Поэтому слушай, как мы будем разговаривать.

IV

— Седьмое. Связь, — сказал старик. — Записывать ничего не будешь. Ты историк, даты запоминаешь, вот и это запомнишь.

Звонить он будет через день, в шесть вечера по Москве, в Омске это девять. На квартиру к Лучко: телефон у него есть, номер Андрей знал. Сам старик будет звонить с Центрального телеграфа на улице Горького, из кабины, как звонят тысячи людей. Если звонка нет, ждать на другой день в тот же час. Если нет и тогда, значит, случилось плохое, и действовать вместе с Лучко по обстановке.

— На линии всегда трое, — сказал старик. — Ты, я и тот, кто слушает. Поэтому никаких имён, никаких должностей, ни слова про папки. Мы с тобой дед и внук. Дед поехал к родне, внук гостит у знакомых. Обычный разговор, дорогой, три минуты. Повторяй.

Андрей повторял.

«Дед здоров» значило: всё идёт по плану. «Дед прихворнул»: трудности, осторожно. «Деда положили в больницу»: опасность, уходить немедленно и сменить место. «Нашёлся альбом»: папка найдена. «Свадьба» значило сентябрьский пленум, и что такое «к свадьбе успеем» или «свадьбу переносят», объяснять не требовалось. «Сосед» значило Тимур.

— И последнее, — сказал старик. — Если надо бежать сразу, без звонков, пришлю телеграмму до востребования на омский почтамт, на твоё имя. Слова будут такие: «Поздравляю с весной». В июне никто никого с весной не поздравляет. Получишь, бросай всё.

Андрей поднял на него глаза. Открытки «Весна» Лучко посылал всем своим каждый год, с сорок пятого. Слово было выбрано не случайно.

— Повтори всё.

Андрей повторил. Дважды, без единой ошибки.

— Восьмое. После почты меня не ищи. До Москвы мы не видимся, нас двоих не должны видеть вместе. Я буду стоять через улицу, у афишной тумбы. Выйдешь с почты: если Бережной всё понял, снимешь кепку. Дальний опознавательный признак, Бережной учил нас этому в

сорок четвёртом: знак, который видно через улицу и который не поймёт никто, кроме своего. Если нет, не снимай, тогда я еду поездом, а созваниваемся, как условились. Иди звони.

* * *

Переговорный пункт помещался в почтовом отделении, в узкой комнате с тремя кабинами и деревянной скамьёй вдоль стены. Телефонистка в наушниках приняла заказ, не поднимая глаз. Срочный разговор стоил втрое дороже обычного, и Андрей отсчитал деньги не глядя. В Москве было начало шестого утра.

Вызвали через сорок минут.

— Москва, третья кабина.

В трубке шуршало и щёлкало, словно по проводу катили гравий. Потом голос, сиплый со сна, но без вопроса:

— Слушаю.

— Это Андрей. Из Новосибирска.

На том конце щёлкнуло ещё раз, отчётливо. Бережной это тоже услышал.

— Слушаю, — повторил он, и голос стал другим, проснувшимся до конца.

— К вам едет мой дед. Сегодня ночью, самолётом. Документов у него нет. Фамилия Матвеев. Будет ждать у кассы аэропорта с девяти вечера.

— Какой ещё дед?

— Такой же, как я. Только старше.

В трубке стало тихо. Андрей слышал, как в Москве, за три тысячи километров, дышит человек, который никогда ничего не принимал на веру. Секунда, другая.

— Понял. Матвеев, с девяти, у кассы. Человек подойдёт, билет и бумагу привезёт. Встречу сам. Ты куда?

— К нашему общему знакомому. К тому, у которого часы.

— Правильно. И вот что, Андрей. Сегодня больше никуда не звони. Ни мне, ни кому другому. Что бы ни услышал.

— Почему?

— Потому что я так сказал.

В трубке щёлкнуло, и голос телефонистки сообщил, что время истекло. Время ещё не истекло. Андрей посмотрел на часы над окошком и понял, что разговор оборвали не на почте.

Он вышел на крыльцо. На той стороне улицы, у афишной тумбы, стоял старик с палкой и читал расписание кино, как читают люди, которым некуда спешить. Андрей снял кепку и вытер ею лоб.

Старик кивнул афише и пошёл прочь, не оглядываясь.

V

Фёдор Игнатьевич отпустил его без лишних слов. Посмотрел поверх очков, почесал обломанным ногтем бровь и сказал:

— Тётка так тётка. Чтоб в среду был у станка.

Андрей пообещал.

Дома он собрался по-солдатски быстро: смена белья, бритва, полбуханки хлеба, деньги из-под половицы. Восемьдесят вторую тетрадь, исписанную на треть, сунул за пазуху. Оставлять её здесь было нельзя.

Фотографию он заметил, когда уже собрался. Она лежала посередине стола, придавленная солонкой. Утром её здесь не было.

Уходя на реку, он, как всегда, запер комнату на висячий замок, и, вернувшись, нашёл замок на месте, закрытым. Окно было заперто на шпингалет.

Он узнал снимок раньше, чем взял его в руки. Ступени Новосибирского театра, двенадцатое мая сорок пятого. Он сам на ступенях, худой, щурится от солнца и не знает, что его

снимают. Этот снимок он видел один раз, в руках у Берии. Снимок лежал в папке, а папка лежала там, где хранятся вещи, которых нет.

На обороте карандашом, крупно, с сильным нажимом, было написано:

«С приездом. Обоим».

Андрей вышел в кухню.

— Ко мне кто-нибудь заходил?

— Днём спрашивал один, — сказала Зинаида, не поднимая головы. — Молодой, весёлый, всё улыбался. Зубы у него спереди железные, все, сколько видно. Назвался соседом твоим по общежитию. Я его в коридоре оставила, а сама к плите. Долго он там стоял, я и не слыхала, как ушёл. Ещё велел передать: «Нечестно, Сеня». Я говорю, какой он тебе Сеня...

Дальше Андрей не слушал.

Если кто-нибудь назовёт тебя Сеней, это он.

В дверях кухни он остановился и прикинул. Предупредить старика? Найти его в городе до ночи было можно, подойти к нему на шесть шагов тоже. Но старик сказал: после почты не искать. Нас двоих не должны видеть вместе. А тот, кто стоял сегодня у него в коридоре, знал про двоих. Значит, смотрел. Значит, ждал, что Андрей побежит к старику и приведёт его за собой.

Старик знал, что говорит. Андрей решил ему поверить.

Вечерний поезд на Омск отходил в начале девятого. Вокзальные часы показывали московское время: начало пятого. В Москве всё уже случилось. Никто на перроне об этом не знал: ни женщина с курами в корзине, ни лейтенант с чемоданом, ни проводница, которая проверяла билеты, не поднимая глаз. Андрей знал и молчал. Этому ремеслу его выучили давно.

Поезд тронулся. Андрей лёг на верхнюю полку, сунул фотографию во внутренний карман, к тетради, и закрыл глаза. Спать он не собирался.

Первый звонок был послезавтра, в девять вечера по-омски. Андрей уже знал, с какого слова начнёт.

«Сосед».

Вера. Гвоздь

Москва. Октябрь 2026 года.

Вера Андреевна теперь просыпалась раньше будильника и, не открывая глаз, говорила вслух:

— Арсений Дмитриевич Ершов. Четырнадцатое марта две тысячи восьмого. Новосибирск, левый берег. Мать Наталья Сергеевна, учитель литературы. Сосед по комнате Тимур Сафин.

Голос в пустой квартире звучал глупо. Она всё равно говорила, каждое утро, слово в слово, как проверяют перед выходом карманы. Если однажды какое-нибудь слово не найдётся, она этого не заметит. Заметить будет некому. Забыть можно только то, что помнишь одна.

Над столом половина стены была заклеена жёлтыми бумажками: «14.10.44. Большой, седьмая дощечка», «12.05.45. Ступени театра», «20.12.46. Можайское шоссе». На некоторых за ночь менялись цифры, и Вера переписывала их заново, не споря.

За окном по Вернадского шли машины, у остановки толпились студенты. Москва была та же: те же дома, те же пробки, тот же запах мокрого асфальта. Только над входом в районную управу висел синий флаг, и никто на него не смотрел. Мир не рухнул. Люди ходили на работу, ругались в очередях, покупали хлеб. Это было страшнее любого пожара.

Вчера она ездила на Ломоносовский. Дверь открыла Наталья Сергеевна, в домашней кофте, с очками на цепочке, и посмотрела на Веру вежливо и чуть устало, как смотрят на социологов с планшетом.

— Здесь нет никакого Арсения. Я одна живу. Давно.

В прихожей над обувной полкой из обоев торчал гвоздь. Вера помнила, что на нём висело: фотография с выпускного, мальчик в белой рубашке, светлые брови, улыбка одной стороной рта. Фотографии не было. Гвоздь остался.

— Этот гвоздь тут сколько себя помню, — сказала Наталья Сергеевна, проследив её взгляд. — Всё собираюсь вытащить, а рука не поднимается.

Сообщений с незнакомого номера больше не приходило. Номер, с которого писала Касандра, теперь не существовал.

Портфель стоял под столом. Восемьдесят одна тетрадь, перетянутая бечёвкой по десять штук, и ещё одна, тонкая, в клеёнчатой обложке, которой не было там до прошлой недели. На обороте обложки стоял фиолетовый штамп вокзального киоска: «Омск». В ней была одна запись, и Вера знала её наизусть: «26 июня 1953 года. Новосибирск. Я здесь». Дальше несколько строк и одно слово, подчёркнутое дважды.

Сегодня под этим словом появились новые строки. Почерк был тот же, старческий, с наклоном влево, только твёрже, чем раньше:

«Река, утро. Говорили. Двоим ближе пяти шагов нельзя. Он понял быстро. Сегодня же разъезжаемся. Связь через день».

На краю страницы, у самого корешка, темнело бурое пятно величиной с ноготь. Вера тронула его пальцем. Пятно было сухим, бумага под ним покорибилась.

Ему было семьдесят три года. Вчера его не было.

Глава вторая. Матвеев



I

Новосибирск, аэропорт Северный. Ночь на 27 июня 1953 года.

Лейтенант пришёл без четверти десять. Молодой, в штатском, которое сидело на нём, как чужая форма: пиджак застёгнут на все пуговицы, руки не знают, куда деться. Он дважды обошёл зал ожидания и только потом остановился у скамьи против кассы.

— Матвеев?

— Матвеев.

Лейтенант протянул конверт. В конверте лежали билет до Москвы и справка с печатью: Матвеев Иван Петрович, пенсионер, следует к месту лечения. Старик прочитал справку целиком, не торопясь, как читают свои документы люди, которым нечего бояться. Печать настоящая, подпись неразборчивая. Хорошая работа для одного дня.

— К самолёту вас проводят, — сказал лейтенант. — Вопросов задавать не будут.

— Спасибо.

Лейтенант не уходил. Он переминался с ноги на ногу, смотрел то на дверь, то на старика.

— Вы не знаете... — начал он и осёкся. — С Москвой с обеда связи нет. По нашей линии. Никто трубку не берёт.

— Бывает, — сказал старик. — Погода.

Лейтенант посмотрел в окно, на светлое ещё июньское небо, кивнул и ушёл. Старик проводил его взглядом. Мальчик напуган и сам не знает чем. Завтра узнает, и станет страшнее. Хорошо, что он не задал главного вопроса: кто такой Матвеев. Значит, ему велели не спрашивать. Значит, сегодня утром Бережной ещё мог приказывать.

День после почты он не потерял ни часа. В универмаге купил готовый костюм, светло-серый, на размер больше, мягкую шляпу, белые парусиновые туфли и коробку зубного

порошка. Туфли начистил порошком прямо на скамейке в сквере, как чистила вся Москва, которую он помнил. Костюм сложил в лёгкий дерматиновый портфель, туда же шляпу и туфли. Фанерный чемоданчик сдал в камеру хранения на вокзале, а квитанцию порвал и выбросил с перевоза в Обь. Потом три часа проспал в зале ожидания, на скамейке, положив портфель под голову. Спать он умел где угодно и сколько дают. Поел хлеба с чаем, через силу, по часам, как пьют лекарство.

Сейчас он сидел в том, в чём приехал: старый хлопчатобумажный пиджак, косоворотка, картуз, палка между колен. Пусть его видят таким. Таким и запомнят.

В начале первого к нему подошёл человек в синей форме аэропорта и молча кивнул на дверь. На поле пахло бензином и нагретой за день травой. Ил-12 стоял у края бетонки, серебристый, с тёмными кругами винтов. По трапу старик поднимался долго, на каждой ступеньке перехватывая поручень. Человек в форме шёл следом и не торопил.

В салоне было двадцать с небольшим кресел, обтянутых зелёной кожей, и все, кроме трёх, заняты. Старик сел у окна, пристегнулся, положил портфель на колени. Взревели моторы, сначала левый, потом правый, и корпус задрожал мелкой дрожью, как лошадь перед прыжком.

Самолёт оторвался от земли в начале второго. В Москве ещё шло двадцать шестое июня. Для кого-то самый длинный день в жизни.

II

В салоне было холодно и шумно. Моторы гудели так, что разговаривать можно было только криком, и никто не разговаривал. Пахло бензином, кожей кресел и чьим-то одеколоном. Бортпроводница в синем берете разносила на подносе леденцы, чтобы не закладывало уши. Старик взял два. Один положил за щеку, другой в карман пиджака, про запас.

На высоте сердце начало сбоить. Сначала пропускало удар через десять, потом через пять. Старик закрыл глаза и стал дышать так, как дышал всю жизнь, когда было страшно или больно. Вдох на четыре. Выдох на шесть. Сердце, как упрямая лошадь, сначала упиралось, потом пошло ровнее. Он считал удары, пока не убедился, что оно его слушается. Потом перестал считать. Счёт тоже отнимает силы.

В Омске сели в третьем часу ночи по-местному. Пассажиры потянулись наружу размять ноги. Старик остался в кресле.

Звон он услышал не сразу. Тонкий, едва различимый, на самом краю слуха, как комар в соседней комнате. Он прислушался. Звон не усиливался и не пропадал. Где-то к востоку, в темноте, по рельсам шёл поезд, и в поезде на верхней полке не спал человек, которому было двадцать семь лет. Километров сто, прикинул старик. Может, меньше. Он жив. Он едет туда, куда велено.

Закон двоих, который вчера чуть не уложил его у реки, сегодня работал как компас.

Когда самолёт снова пошёл на взлёт, звон истончился и пропал. Старик улета́л от себя, и с каждой минутой ему становилось легче дышать и тяжелее думать.

Думать было о чём.

Сколько ему осталось, он не знал. Сердце могло встать над Уралом, в такси, на лестнице. Здесь никто не знал его болезней, не было ни его врача, ни его таблеток. Он мог не дожить до сентября. Мог не дожить до Москвы. Если это случится, молодой будет жить дальше, и их общая жизнь не оборвётся: всё, что старик прожил, мальчику ещё предстоит прожить. В этом была странная лёгкость. Смерть, которая ничего не отнимает.

Но то, что старик знал, молодой не знал. Имена, даты, расклад на семьдесят лет вперёд, кто кого предаст и кто устоит. Это знание было только в одной голове, в этой, столетней. Значит, торопиться надо было не ради себя.

Он подумал о том, ради чего остался в сорок четвёртом. Дверь тогда была открыта, Вера ушла через неё домой, а он остался. Не ради Сталина и не ради Берии. Ради женщин с бидонами на перевозе, ради мастера с обломанным ногтем, ради Нюры у проходной. Ради страны, которая

в сорок четвёртом ещё воевала и не знала, что победит. Потом он прожил с этой страной всё остальное. Пятьдесят шестой, шестьдесят первый, восемьдесят пятый, девяносто первый. Флаг над Кремлём сменился, а государство устояло, и Россия осталась наследницей того, что было до неё. Вечный огонь у Кремлёвской стены горел при всех флагах.

Огонь зажгли в мае шестьдесят седьмого. Там, откуда он пришёл теперь, огня не было. Значит, та страна, которая должна была его зажечь, сломалась раньше. Где-то здесь, этим летом.

Кто тянул за нитку, он пока не знал. Тимур. Или кто-то наверху, кому выгодно, чтобы Первым стал другой. Или те, кто сидит в посольствах на Садовом кольце и с марта ждёт, когда наверху сцепятся. Скорее всего, все сразу. Им не нужно договариваться друг с другом. Достаточно тянуть в одну сторону.

Для него все они были одним и тем же: врагами государства. Так его учили в сорок четвёртом, и за всю жизнь он не нашёл причины переучиваться.

Над Уралом начало светать.

III

В Свердловске сменился экипаж и сошла половина пассажиров. В Казани сели новые.

Один из них, мужчина лет сорока в сером пиджаке и кепке, занял кресло через ряд позади и развернул «Правду». Ничего особенного в нём не было. Именно это старику и не понравилось: в нём не было ничего, за что цепляется глаз. Ни шрама, ни орденской колодки, ни авоськи, ни ребёнка. Человек без примет.

Старик не обернулся. Он чуть повернул голову к окну и стал смотреть не на облака, а на стекло. На фоне тёмной обшивки стекло работало как зеркало. Мужчина держал газету развёрнутой на второй странице. Через двадцать минут она всё ещё была развёрнута на второй странице. Через сорок тоже.

Значит, ждут, подумал старик. Значит, разговор с Бережным слушали, и слушали не зря. Фамилию они знают, рейс знают. В Новосибирске лейтенант видел старика с палкой и в картузе, и, если лейтенант доложил, это знают тоже. В Казани посадили своего, чтобы посмотрел вблизи. Во Внукове встретят остальные.

Он не почувствовал ни страха, ни злости. Только знакомый холодок в затылке, как в сорок четвёртом, когда Бережной впервые положил перед ним чужое личное дело и сказал: «Найди, где врёт». Голова встала на рельсы и пошла.

Внуково он знал. В пятидесятые и шестидесятые он летал отсюда десятки раз, сначала молодым инженером, потом не очень молодым. Он помнил здание аэровокзала до последней ступеньки: зал ожидания, буфет направо, газетный киоск у колонны, уборные в конце коридора, у камеры хранения. Помнил и дверь, которой пользовались экипажи и работники ресторана: из коридора за буфетом прямо на хозяйственный двор, а оттуда за ограду, к автобусной остановке. Пассажиры про эту дверь не знали. Встречающие тоже.

Во Внукове сели в начале третьего. Человек с «Правдой» вышел первым и пошёл к зданию, не оглядываясь. Тот, кто следит в одиночку, оглядывается. Тот, кого впереди ждут свои, не оглядывается никогда.

Старик спустился по трапу последним, на каждой ступеньке опираясь на палку, и медленно, по-стариковски, побрёл через поле. В здании он свернул в коридор и вошёл в уборную.

В кабинке он управился за семь минут. Снял картуз, пиджак, косоворотку. Надел белую рубашку, костюм, повязал галстук. Пальцы дрожали, но узел помнили: в пятидесятые он завязывал его каждое утро. Сапоги поставил в угол, натянул парусиновые туфли, белые, как сахар. Старую одежду свернул и затолкал за бачок. Шляпу надел последней, чуть набок, как носили в министерствах.

Оставалась палка.

Он подержал её в руке. Ясенева, гладкая, тёплая от ладони. Четыре дня она была третьей ногой. Без неё колени ныли с первого шага, а через сто шагов начинали гореть. Но по палке его будут искать. По палке, по картузу и по стариковской походке.

Он прислонил палку к стене в углу кабинки, и ему стало её жаль, как живую.

В мутном зеркале над умывальником стоял другой человек. Пожилой, но не дряхлый, в хорошем костюме, с портфелем, при шляпе. Пенсионер союзного значения, бывший главный бухгалтер какого-нибудь министерства, едет на дачу к внукам. Старик выпрямил спину. Спина отозвалась болью от поясницы до затылка.

Пусть болит, подумал он и вышел.

IV

В зале ожидания былолюдно и душно. Под высоким потолком лениво крутились лопасти вентиляторов, у буфета стояла очередь за лимонадом, на скамьях спали транзитные пассажиры, подложив под головы узлы. Репродуктор хрипло объявлял посадку на Сочи.

Троих он увидел сразу, ещё из дверей коридора.

Одинаковые светлые костюмы, одинаковые шляпы, одинаковые начищенные ботинки. Плечи, которые костюмы не скрывали, а подчёркивали. Форма, которая притворялась штатским. Один стоял у газетного киоска и держал «Огонёк» так, как держат вещь, которую не собираются читать. Второй курил у главного выхода, спиной к стеклянной двери, лицом к залу. Третий сидел на скамье у камеры хранения, в двадцати шагах от коридора с уборными. Треугольник. Любой, кто выйдет из коридора и пойдёт к дверям, пройдёт мимо всех троих.

Человек с «Правдой» стоял у киоска рядом с первым. Он что-то сказал, коротко, не поворачивая головы, и первый посмотрел на коридор. Сидевший у камеры хранения положил ногу на ногу и тоже стал смотреть на коридор. Ждали старика в картузе и с палкой. Ждали, когда он выйдет из уборной.

Старик уже вышел.

Он стоял у колонны, в шести шагах от них, и рассматривал расписание рейсов. Рядом молодая женщина с двумя детьми пыталась одной рукой удержать младшего, а другой поднять с пола раздувшуюся авоську с яблоками.

— Позвольте, дочка.

Он подхватил авоську. Женщина благодарно кивнула, старший мальчик тут же взял старика за свободную руку, как берут деда. Так, вчетвером, они и пошли через зал: мать с младшим на руках, мальчик, старик с портфелем и яблоками. Семья. Никто не посмотрел на них дважды. Человек у киоска скользнул взглядом по белым туфлям, по шляпе, по портфелю и вернулся к коридору.

У буфета старик отдал авоську.

— Спасибо вам, дедушка.

— На здоровье.

Он обошёл очередь, толкнул неприметную дверь за стойкой, прошёл коридором мимо кухни, где пахло щами и пригоревшим луком, и вышел на хозяйственный двор. Повариха в белом колпаке, курившая у бочек, проводила его глазами и ничего не сказала. Пожилой человек в хорошем костюме знает, куда идёт.

За оградой была автобусная остановка. На жестяной табличке значилось: «№ 11. Площадь Свердлова — аэропорт Внуково». У остановки стояли люди с чемоданами, и никто из них не разговаривал. По шоссе в сторону Москвы прошли два армейских грузовика с брезентовым верхом. Из-под брезента смотрели солдаты, молодые, в пилотках. Женщина на остановке проводила их глазами и сказала соседке негромко:

— Вчера весь день шли. И танки, говорят, видели.

— Учения, — ответила соседка. — Не наше дело.

Старик не слушал. Он искал Бережного.

Бережной никогда в жизни не ждал у официального выхода. Это старик знал так же точно, как собственный почерк. Бережной вставал там, откуда видно выход, и тех, кто ждёт у выхода, и тех, кто ждёт тех, кто ждёт. Спиной к стене, в тени, с газетой, которую он действительно читал.

На краю площади росли старые липы. Под крайней, в тени, стояла чёрная «Победа». У переднего крыла, спиной к ограде, курил высокий сутулый человек в светлом плаще. Солнце блеснуло в его очках.

Стальные очки. Бережной постарел на девять лет. Старик постарел на восемьдесят два. Сейчас они были почти ровесники.

▼

Старик не пошёл через площадь. Он вернулся вдоль ограды, обогнул липы с задней стороны, где за кустами сирени тянулась канава с лопухами, и вышел к «Победе» со спины. Последние двадцать шагов дались тяжело: колени горели, в боку кололо. Он остановился в шаге от плаща.

— Не верьте, товарищ полковник, — сказал он негромко. — Проверьте.

Бережной не обернулся. Только пальцы с папиросой замерли на полпути ко рту. Секунду он стоял так. Потом бросил папиросу, растёр её носком ботинка и сказал, глядя на здание аэровокзала:

— Садитесь назад. Шляпу не снимайте.

В машине пахло табаком и нагретым дерматином. Бережной вывел «Победу» на шоссе и минуты три ехал молча, поглядывая в зеркало. Сзади никого не было.

— Те трое у дверей, — сказал старик. — Ваши?

— Нет.

— Чьи?

— Не знаю. — Бережной перестроился, обгоняя грузовик с солдатами. — Это хуже всего. Люди Круглова ходят иначе. Круглов со вчерашнего дня министр.

— А вы?

— А я с сегодняшнего утра никто. Отстранён до выяснения. Удостоверение сдал, оружие сдал. Машина своя. Вы летели по последней бумаге, которую я успел подписать.

Старик кивнул, как будто ему сообщили о дожде.

— Значит, работаем без них.

Бережной посмотрел на него в зеркало. Долгим, тяжёлым взглядом человека, который тридцать лет смотрит на людей и почти всегда видит, что у них внутри. Старик выдержал этот взгляд и улыбнулся. Одной стороной рта.

Бережной отвёл глаза на дорогу. На скулах у него проступили желваки.

— Ты, — сказал он. Не спросил.

— Я.

— Сколько тебе?

— Сто.

Бережной держал руль обеими руками и не отвечал. Потом сказал, ровно, без выражения:

— Я не поверил. Теперь проверил.

Дальше они ехали молча. Вдоль шоссе тянулись дачные заборы, у переезда стоял армейский патруль и пропускал машины, не глядя. Старик смотрел в окно и чувствовал, как из него уходит то, на чём он держался последние двое суток. Не сразу, а так, как уходит вода из ванны: сначала незаметно, потом с бульканьем и воронкой.

Сначала задрожали руки. Он сцепил пальцы на портфеле, но дрожь пошла выше, в локти, в плечи. Под рубашкой выступил холодный пот. Сердце, которое он сорок часов держал в узде, сорвалось и понеслось, сбиваясь, спотыкаясь, колотясь в горло. Перед глазами поплыли серые пятна.

— Остановите, — сказал он. Или подумал, что сказал.

«Победа» встала у обочины. Бережной перегнулся через спинку, посмотрел ему в лицо и, ничего не спрашивая, достал из бардачка жестяную трубочку. Вытряхнул на ладонь крошечную белую таблетку.

— Под язык. Не глотать.

Старик послушался. Во рту стало горько и холодно, в висках ударило. Через минуту сердце пошло ровнее.

— Сам на нём сижу третий год, — сказал Бережной. — Полежи.

— Через двадцать минут я буду в порядке, — сказал старик. — Через час смогу работать.

Мне нужно знать...

Он не договорил. Он спал.

Бережной снял плащ, укрыл его и ещё с минуту смотрел на это лицо, на светлые брови, почти незаметные, на кривую складку у рта. Потом сел за руль и поехал в город, держась правого края дороги, не быстрее сорока.

VI

Проснулся он в сумерках, на продавленном диване, под клетчатым пледом. Комната была чужая: буфет с фарфоровыми слониками, этажерка с книгами, на стене портрет женщины в платке, очень похожей на Бережного. Из открытой форточки тянуло тополем и далёким звоном трамвая.

— Сестра, — сказал Бережной из-за стола, не поднимая головы от бумаг. — Умерла в позапрошлом году. Квартира числится за ней. На службе про неё не знает никто.

Старик сел. Тело было пустым, как вычерпанный колодец, и лёгким, словно чужим. Так бывало и раньше, в другой жизни, после тяжёлых суток: ни мыслей, ни желаний, только тупая усталость в каждой кости. Он знал, что это пройдёт. Не знал только, сколько раз ещё оно будет проходить.

На столе стояли тарелка с гречкой и стакан холодного чая. Он съел всё, до последнего зерна, не чувствуя вкуса. Потом выпил чай. Потом посмотрел на часы Лучко. Половина десятого.

— Рассказывайте, — сказал он.

Бережной снял очки и потёр переносицу.

— Вчера вечером кабинет в Совмине обыскивали. Бумаги из сейфов увезли. Говорят, кое-что Маленков прямо там забрал себе, не дожидаясь описи. На Никитской обыск шёл всю ночь. Описи пишут, людей допрашивают, всех подряд, от заместителей до шофёров. Неделю будет такая каша, что никто ничего не найдёт.

— То, что взял Маленков, Маленкову и нужно, — сказал старик. — Это не наша папка. Наша не лежала ни в Совмине, ни на Никитской. Он держал её отдельно, там, куда не придёт обыск. Был человек, который возил ему такие бумаги?

Бережной надел очки. Посмотрел на старика так же, как в машине, тяжело и долго.

— Был. Майор Гвоздев. Фельдъегерь для особых поручений, без должности в штатном расписании. Возил то, что нельзя посылать почтой и нельзя оставлять в сейфе. Я его видел два раза. Человек без лица.

— Где он сейчас?

— Утром на службу не вышел. — Бережной помедлил. — У меня в кассе Аэрофлота ещё остался свой человек, он позвонил мне сюда в шесть. В одиннадцать утра Гвоздев купил билет на самолёт. Вылетел в два.

— Куда?

— В Омск.

Старик не шевельнулся. Только пальцы на коленях сжались в кулаки.

В Омске летом пятьдесят третьего его похитили. Семьдесят три года он помнил об этом и семьдесят три года был уверен, что искали его самого: мальчика из сада, человека, который знает будущее. Он перебирал эту историю сотни раз, и она всегда сходилась.

Сейчас она не сошлась.

Может быть, Омск был связан не только с ним.

Он заставил себя вернуться к тому, что можно проверить.

— Папки при нём нет, — сказал он. — Такое рейсовым самолётом не возят. Самолёт может сесть не там, багаж могут вскрыть, рядом могут посадить своего, как сегодня посадили ко мне. Он её спрятал. Здесь, в Москве. А сам уехал. Может, уводит за собой тех, кто будет искать. Может, едет к тому, кто за ней придёт.

— Квартира у него на Шаболовке, — сказал Бережной. — Живёт один.

— Человек для особых поручений живёт один. Значит, в квартире есть тайник. Сегодня ночью, пока его нет. Пока туда не пришли другие.

— Могли уже прийти.

— Тогда тем более сегодня.

Бережной посмотрел на него, потом на портрет сестры на стене, словно спрашивал у неё совета. Потом выдвинул ящик стола и положил на клеёнку свёрток из промасленной тряпки. В тряпке звякнуло железо.

— Отмычки, — сказал он. — Старые. Ещё с сорок четвёртого.

Глава третья. Сосед



I

Омск. 27 июня 1953 года.

Поезд пришёл в Омск в восьмом часу утра. Андрей спрыгнул с подножки раньше, чем вагон встал совсем, и пошёл вдоль состава к голове поезда, против потока. Так учил Бережной: с поезда уходи не туда, куда все. Кто пойдёт за тобой против толпы, тот и есть хвост.

За ним никто не пошёл.

Вокзальные часы показывали начало пятого по-московски. Ночью, на какой-то маленькой станции перед Омском, у него ненадолго запело в ушах, тонко, как комар над ухом. Андрей лежал на верхней полке, слушал этот звон и не мог понять, страшно ему или хорошо. Где-то совсем недалеко, в темноте, на аэродроме стоял самолёт, и в самолёте сидел старик. Потом звон ушёл на запад и пропал. Андрей так и не уснул до утра.

Омск встретил его ветром с Иртыша. Широкие пыльные улицы, тополя, деревянные дома с резными наличниками вперемешку с купеческим камнем. Трамвай, звеня, полз по улице Ленина, которую здешние по старой памяти звали Любинским проспектом. На мосту через Омь мальчишки удили рыбу, свесив босые ноги над водой.

Лучко жил за рекой, в бревенчатом двухэтажном доме, на втором этаже, с отдельным крыльцом и телефоном, который ему поставили как начальнику отделения. После Карлсхорста, после пробитого лёгкого и восьми месяцев по госпиталям, его отправили сюда, подальше от Москвы. Майор, областное управление, отдел по борьбе с бандитизмом. Андрей бывал у него дважды, в сорок девятом и в пятьдесят первом. Оба раза Лучко встречал его так, словно они расстались вчера.

Дверь открылась после второго стука. Лучко стоял на пороге в майке, с бритвой в руке. Правая половина лица была в мыльной пене, левая, обожжённая, гладкая и блестящая, как

всегда, не нуждалась в бритве. Плечо так и не разогнулось: он держал его чуть выше другого, будто всё время к чему-то прислушивался.

— Слышь, будущий, — сказал Лучко. — Ты чего тут?

— Пустишь?

Лучко посмотрел мимо него на улицу, вправо, влево. Потом отступил в сторону.

— Заходи. Быстро.

В комнате пахло одеколоном «Шипр», табаком и жареной картошкой. На подоконнике стоял горшок с геранью, на стене висела карта области, утыканная флажками. Лучко добрился, не торопясь, глядя на Андрея в зеркало над умывальником, вытер лицо и только тогда сел напротив.

— Ночью начальника к аппарату вызывали, — сказал он. — По ВЧ. До утра сидел, заперевшись. Утром собрал нас и говорит: никаких распоряжений из Москвы не исполнять, кроме тех, что идут через него лично. А лицо, знаешь, как у покойника. Я двадцать лет служу, такого лица не видал.

— Берию взяли, — сказал Андрей. — Вчера днём. В Кремле.

Лучко не ответил. Он сложил бритву, положил её на стол, ровно, параллельно краю, и не поднимал от неё глаз.

— Откуда знаешь?

— Знаю.

— Ну раз знаешь, значит, так и есть. — Лучко поднял глаза. — Ты ж у нас оттуда.

Он потянулся к пачке «Беломора», вытряхнул папиросу, но закуривать не стал. Вертел её в пальцах.

— Ну, рассказывай, будущий. Только всё.

— Всё не могу.

— Тогда что можешь.

II

Он рассказал про старика.

Не всё. Не про синий флаг и не про маму, которая открыла дверь и спросила, кого он ищет. Это было слишком далеко и слишком своё. Он рассказал то, что Лучко мог взять в руки и пощупать: вчера утром на Оби к нему подошёл человек, которому сто лет. Человек знал его настоящее имя, пароль от вещи, которой здесь ещё не существует, и носил на шее тот же шрам. Ближе пяти шагов им нельзя: звенит в ушах, идёт кровь, встают часы. Сегодня ночью этот человек улетел в Москву, к Бережному. А его, Андрея, отправил сюда.

Лучко слушал не перебивая. Курил, стряхивая пепел в банку из-под консервов. Когда Андрей замолчал, он ещё с минуту смотрел в окно, на реку.

— Сто лет, — сказал он наконец. — Это ты, значит, столько протянешь.

— Выходит, так.

— Ну, хоть одна хорошая новость за сутки. — Лучко затушил папиросу. — А почему сюда? Почему ко мне?

Андрей помедлил. Это была самая трудная часть.

— Потому что в его жизни меня этим летом похитили. Здесь, в Омске. И вытащили живым. Ты и Бережной.

Лучко поднял на него глаза. Обожжённая половина лица не двигалась, вторая на секунду дрогнула, словно он хотел усмехнуться и передумал.

— Я, значит, вытащил.

— Ты.

— Ну, раз было, значит, и будет. — Он сказал это просто, как говорят о погоде на завтра. — А кто похитил?

— Он не сказал.

Это была правда только наполовину. Кто похитил, старик не сказал. Зато сказал, кто здесь, и Андрей теперь знал, кого бояться. Он достал из внутреннего кармана фотографию и положил на стол.

— Вот это вчера лежало у меня в комнате. Дверь была заперта.

Лучко взял снимок, посмотрел на ступени театра, на худого парня, щурящегося от солнца. Перевернул. Прочитал надпись. Лицо у него не изменилось, только пальцы, державшие фотографию, побелели на ногтях.

— Этот снимок я видел, — сказал он тихо. — В сорок пятом. У Лаврентия Павловича на столе. Он его в папку убрал. Красную такую, с тесёмками.

— Соседка говорит, приходил парень. Молодой, весёлый. Зубы спереди железные.

Лучко нахмурился и ничего не ответил. Положил фотографию лицевой стороной вниз и прижал ладонью, как прижимают карту, которую не хотят показывать.

Про звонки договорились быстро. Через день, в девять вечера, сюда, на этот телефон. Дед и внук. Лучко выслушал и кивнул.

— Телефон служебный. В управлении его, ясное дело, слушают.

— Поэтому дед и внук.

— Деду привет передавай. — Лучко встал, поправил ремешок часов на запястье. — Мне на службу. Сиди тут, никуда не ходи, никому не открывай. Хлеб в шкафу, картошка на сковороде.

Андрей смотрел на часы. Трофейные, на потёртом ремешке, с чёрным циферблатом. Те самые. Стекло было целое, чистое, без единой царапины.

Вчера на Оби, когда старик достал свои часы и посмотрел на них, Андрей заметил: через всё стекло у тех шла трещина.

Как эти часы попали к старику, Андрей не знал. Но догадывался, что Лучко сам их никому не отдал бы. Он открыл рот, чтобы спросить, и закрыл.

Источником бывает и молчание.

III

Лучко ушёл, и в комнате стало слышно ходики.

Андрей сел на подоконник, спиной к косяку, так, чтобы видеть и дверь, и реку. Фотография лежала на столе лицевой стороной вниз, там, где её оставил Лучко. На карте области краснели флажки: банды, налёты, побеги. Весна пятьдесят третьего, тысячи выпущенных, и каждый флажок чья-то жизнь. За окном по Оми тянули плот, и мужик на плоту, стоя, отталкивался шестом.

Девять лет он думал, что держит.

Что стоит на берегу и видит реку целиком, от истока до устья, и знает каждый поворот. Что может подправить течение там, где оно неправильное, а остальное пусть течёт само. Сказать одно слово и промолчать о другом. Положить камешек туда, куда надо. Мальчик думает, что удерживает. Так когда-то сказали о нём, и он обиделся, потому что не понял.

Теперь понимал.

История была не машиной, у которой можно дёрнуть рычаг и посмотреть, что выйдет. Она была живой. Как Обь в половодье: бросишь камень у берега, и он уйдёт на дно, и вроде ничего не случилось. А через версту вода уже идёт по-другому, через десять подмывает другой берег, через сто несёт чужие брёвна в чужую протоку. И назад её не загонишь. Можно перегородить, можно прорыть новое русло, но той воды, которая была, уже не будет никогда.

Кто бросил камень, он или Тимур, было теперь неважно. Мама открыла дверь собственному сыну и спросила, кого он ищет. У Кремлёвской стены не было огня. Над Москвой висел чужой флаг. Это уже случилось там, впереди, и всё это начиналось здесь, этим летом, в пыли, в тополином пуху, среди людей, которые ни о чём не подозревали.

Он был здесь чужим. Девять лет он старался об этом забыть, и почти получилось. Но чужой остаётся чужим, даже когда говорит на одном языке и ест один хлеб. Его слово весило здесь больше, чем слово любого другого человека, потому что за ним стояло знание, которого не было ни у кого. Одно неосторожное слово могло сдвинуть то, что сдвигать нельзя.

А сдвигать здесь было что. Это была ядерная держава. Он сам видел в сорок пятом, на американской карте, двадцать советских городов, обведённых кружками. Через полтора месяца под Семипалатинском взорвут новую бомбу, страшнее прежней. Один неверный человек на одном неверном месте в Кремле, и речь пойдёт уже не о жизни мамы, не о его собственной, а о городах. Может быть, о мире.

Вернуть всё как было нельзя. Старик знал это не хуже его, просто не сказал. Река не течёт дважды по одному руслу. Какие-то отклонения останутся, и с ними придётся жить. Но можно вернуть главное. Чтобы страна прошла мимо той пропасти, на краю которой стояла в двадцать шестом. Хотя бы приблизительно. Хотя бы по главному руслу.

Для этого надо работать собранно, без суеты и без геройства. Как учил Бережной. Как работал старик.

Он думал о старике и понимал теперь, почему тот столько раз повторил «не умирай». Не из жалости. Старик мог умереть в любую минуту, в самолёте, на улице, в чужой постели. И тогда здесь, в этом времени, из тех, кто знает, останется один Андрей. Один рычаг. Лучко, Бережной, их люди могли быть руками. Головой оставался только он.

Он не всемогущ. Он даже не главный. Он рычаг, а рычаг обязан выдерживать.

И все, кто тянет реку в другую сторону, Тимур, или те, кто купит у Тимура будущее, или те, кому Тимур его продаст, были для него теперь одним и тем же: врагами государства. Того, в котором он родился, и того, в котором он жил. Он никогда не видел между ними стены. Он вырос в одном, прожил девять лет в другом и оба называл одним словом.

Ходики пробили два. Андрей слез с подоконника, размял затёкшие ноги и встал сбоку от окна, за занавеской.

Парня на лавке у колонки он заметил в третьем часу.

Андрей стоял у окна сбоку, за занавеской, так, чтобы с улицы его не было видно, и смотрел не на улицу, а в отражение в стекле распахнутой створки. Парень лет двадцати, в кепке, в пиджаке на голое тело, лузгал семечки и сплёвывал шелуху себе под ноги. Ничего особенного. Только за час кучка шелухи у его ботинок выросла вдвое, а сам он не сдвинулся с места и ни разу не посмотрел ни на кого из прохожих. Смотрел он на крыльцо Лучко. Когда он поднимал руку с семечками ко рту, на пальцах синели наколотые перстни. Когда сплёвывал, во рту блесла фикса.

Сидеть дальше было нельзя. Бережной говорил: кто ждёт за запертой дверью, того и берут. Дверь для того и запирают, чтобы человек сам себя посадил.

У Лучко был второй выход, через чулан и задний двор, к сараям и дальше в овраг, который спускался к реке. Андрей вышел им, обогнул квартал по оврагу, поднялся на соседнюю улицу и встал у табачного ларька, откуда лавку было видно наискосок.

В четыре к парню подошёл другой, постарше, и сел рядом. Первый встал, потянулся и пошёл в сторону центра, не оглядываясь. Смену сдал.

Андрей пошёл за ним.

Вести человека в одиночку его учили в сорок пятом, в Берлине. Бережной говорил: объект ведут ногами, а не глазами. Хороший наружник тот, кого не помнят. Лучко добавлял своё, попроще: на хвосте сидят не как пёс на поводке, а как кот у мышиной норы. То подойди, то отойди, то вовсе усни.

План города Андрей утром выучил по тому, что лежал у Лучко на столе под стеклом, пока тот брился. Улицы, переулки, мост, базар, трамвайная линия. Теперь эта карта лежала у него в голове.

На мосту через Омь он отпустил парня шагов на полтора. Мост был открытый, как ладонь, и любой, кто пошёл бы следом, торчал бы на нём, как столб. Андрей облокотился на перила у самого начала моста и стал смотреть, как мальчишки внизу таскают пескарей. Стоял, пока кепка парня не сошла с моста на тот берег. Потом пошёл, не торопясь, и на том берегу подобрал его снова, уже на улице Ленина, у аптеки.

У рыночного лотка пожилая женщина продавала редиску пучками и авоськи. Андрей купил и то, и другое, сунул пиджак в авоську, а редиску положил сверху. Пиджак, который мог запомниться, исчез. Остался парень в светлой рубашке с закатанными рукавами, идущий с базара с покупками. Через квартал у пивного ларька сидел на ящике пьяный инвалид в выгоревшей солдатской пилотке. Андрей отдал ему рубль, взял пилотку и надел. Инвалид посмотрел на рубль, на Андрея и ничего не спросил.

Когда парень свернул в переулок, Андрей за ним не пошёл. Бегом к углу бежит тот, кто боится потерять. А за углом объект стоит и прикуривает, и вы встречаетесь глазами, и всё кончено. Переулок, он помнил по карте, выводил на Красный Путь, через два квартала. Андрей прошёл параллельной улицей, быстрым шагом, мимо почты и бани, и вышел к перекрёстку первым. У бочки с квасом стояла очередь. Он встал в неё и купил кружку. Парень вынырнул из переулка, когда Андрей сделал второй глоток. Прошёл мимо очереди в трёх шагах, не повернув головы.

Дальше Андрей шёл впереди него. Не оглядываясь, по отражениям в витринах, по звуку шагов, по тому, как оборачивались ему вслед встречные. У сквера на скамейке сидел старик с удочками, и Андрей присел рядом, спросил, где тут на Иртыше берёт язь. Старик обрадовался и стал объяснять обстоятельно, с руками, про перекааты и про то, что язь в такую жару стоит у дна. Парень прошёл позади скамейки, и Андрей проводил его краем глаза. Поблагодарил старика, снял пилотку, сунул её в авоську, развернул купленную на углу «Омскую правду» и пошёл следом уже простоволосым, читая на ходу.

Три раза за дорогу парень мог бы оглянуться. И трижды увидел бы позади разных людей: парня в пилотке с авоськой, человека в очереди за квасом, читателя с газетой. Ни одного из них он бы не узнал.

Но он ни разу не оглянулся. Ни одного резкого поворота, ни одной проверки у витрины, ни одной остановки без дела. Так ходят люди, которым всё равно, идут за ними или нет.

Или люди, которым велено, чтобы за ними шли.

Базар гудел. Пахло копчёной рыбой, укропом, конским навозом и кислым кумысом, который казахи продавали из бурдюков у ворот. Инвалид без ног, на тележке, играл на гармонии «Синий платочек». Женщины в белых платках торговали редиской, огурцами, первыми ягодами. В рыбном ряду на прилавках лежали серебристые муксуны и нельма длиной в руку. Андрей потерял парня в толпе у рыбного ряда и нашёл снова у чайной палатки в дальнем углу.

Парень что-то говорил человеку за столиком. Человек слушал, держа стакан с чаем в левой руке.

На вид ему было лет тридцать пять. Сухой, жилистый, коротко стриженный, с белым шрамом через бровь. Загар, какой бывает не от курорта, а от лесоповала. Он засмеялся чему-то, и во рту у него вспыхнули на солнце железные зубы, весь передний ряд, сверху и снизу. Смеясь, он наклонил голову влево, к плечу.

Андрей остановился.

Так наклонял голову Тимур, когда смеялся над чем-нибудь в телефоне. Сидел на кровати в общежитии, двенадцатый этаж, ноги на батарее, и ржал, заваливая голову к левому плечу. И стакан, и ложку, и ручку Тимур всегда держал левой.

Человек за столиком поднял глаза. Не на парня, не на толпу. Прямо на Андрея, через сорок шагов людей, телег и прилавков, как будто всё это время знал, где он стоит. Улыбнулся железом. Поднёс два пальца к козырьку кепки.

Потом между ними прошла телега с бидонами, а когда она прошла, столик был пуст.

Его не засекли. Так, как он шёл, засечь его было нельзя, и он это знал точно. Его просто ждали здесь, в конце дороги, куда парень с фиксой должен был его привести.

Андрей не стал ждать. Двое в одинаковых кепках уже шли к нему от ворот, неторопливо, с двух сторон, как загоняют лошадь. Он нырнул под прилавок рыбного ряда, выбрался на ту сторону, извинился перед пожилой женщиной с корзиной, на которую чуть не налетел, и вышел через хозяйственные ворота на задворки, к телегам и бочкам. За углом звенел трамвай. Андрей догнал его, вскочил на подножку на ходу, проехал две остановки, спрыгнул у моста и ушёл дворами.

К дому Лучко он вернулся в сумерках, через овраг и чулан, проверившись трижды. Лучко сидел за столом в кителе, не сняв фуражки, и курил. Пепельница была полна.

— Я тебе что сказал? — тихо спросил он.

— Сидеть было нельзя. Тебя с утра пасут. Парень у колонки, с фиксой.

Лучко посмотрел в окно. На лавке у колонки было пусто.

— Видел его? — спросил он, и Андрей понял, что спрашивают не про парня.

— Видел. Он сам мне показался. Хотел, чтобы я его увидел.

Два пальца к козырьку. Так Тимур здоровался по утрам, когда Андрей возвращался с пробежки, а сам Тимур ещё лежал под одеялом. Двенадцатый этаж. Две тысячи двадцать шестой год. Тысячу лет назад.

IV

Омск. 28 июня 1953 года.

Ночью Андрей не спал. Лежал на раскладушке у стены, слушал, как Лучко ворочается за перегородкой и кашляет пробитым лёгким, и прислушивался к собственной голове. Звона не было. Старик был далеко, за две с лишним тысячи километров, и тишина в ушах, которая ещё позавчера была бы обычной, теперь звучала как пустая комната. Где он? Долетел? Жив?

Если с ним что-то случится, ты даже не заметишь.

От этого было не легче, а тяжелее.

Лучко ушёл в шесть, а в одиннадцать вернулся. Снял фуражку, бросил её на стол, налил из чайника холодной заварки и выпил залпом, как воду.

— Два дела, — сказал он. — Первое. Ночью из Москвы прилетел майор. Нашего министерства. Командировочного предписания нет, встречающих нет. В аэропорту дежурный из линейного отдела его приметил, потому что тот сам ему удостоверение в нос сунул и спросил, где тут гостиница. Дежурный мой бывший, он мне утром и позвонил. Мол, странный какой-то, товарищ майор, без бумаг, а держится как хозяин.

— Фамилия?

— Гвоздев. Поселился в Доме колхозника у базара. Под своей фамилией, по своему удостоверению.

Андрею эта фамилия ничего не говорила. Он запомнил её на всякий случай.

— Второе, — сказал Лучко и достал из планшета тонкую папку. — Вчерашний твой знакомый. С зубами.

Он раскрыл папку на столе. Сверху лежала справка об освобождении, копия, с фиолетовым штампом: Сафронов Тимофей Ильич, тысяча девятьсот двадцать шестого года рождения, осуждён в сорок девятом по бытовой статье, за кражу, освобождён по амнистии в апреле пятьдесят третьего из Карлага. Под справкой лежал рапорт участкового, исписанный корявым почерком.

— Сафронов, — сказал Андрей. — Тимофей.

— Тебе что-то говорит?

— Почти.

Сафин Тимур. Сафронов Тимофей. Человек, который придумывал себе фамилию на ходу, где-то в сорок девятом, когда его взяли без документов, и придумал так, чтобы самому не забыть. Как старик придумал себе Матвеева.

Если Тимура взяли в сорок девятом восемнадцатилетним, сейчас ему двадцать два. Вчера на базаре Андрей дал бы ему тридцать пять. Лагерь старит быстрее войны.

— Кличка Фиксатый, — сказал Лучко. — С апреля в городе. Собрал вокруг себя человек двадцать из амнистированных, все с базара. Станный он. Грамотный, говорит гладко, как учитель. В карты не играет, водку не пьёт. А урки его слушаются, как отца родного. Участковый пишет, будто он им судьбу предсказывает. Кому когда сесть, кому когда выйти. И сбывается.

Андрей молчал. Тимур знал, кого и когда освободят, кого возьмут, какие указы выйдут в июле. Для людей, которые всю жизнь гадали, когда придёт конвой, это было вернее любой молитвы.

— Я сегодня к Дому колхозника пару своих поставлю, — сказал Лучко. — Не по службе. По дружбе. Посмотрим, с кем майор водится.

— Я хочу посмотреть сам.

— Нет.

— Лучко.

— Я сказал нет. — Лучко поднял глаза. — Вчера ты уже насмотрелся. Тебе дед что велел? Не умирать. Вот и не умирай, пока я тут.

Он встал, надел фуражку, но у двери задержался.

— И вот что ещё, будущий. Этот майор прилетел официальным рейсом, записался своей фамилией и удостоверением машет направо и налево. — Лучко поправил ремень на неразогнувшемся плече. — Так не прячутся. Так приманивают.

V

В девять вечера телефон молчал.

Андрей сидел у стола и смотрел на чёрный аппарат, как смотрят на мину. Лучко курил у окна, спиной к нему, и делал вид, что смотрит на реку. Ходики на стене стучали громко, по-деревенски. Пять минут десятого. Семь минут.

Если звонка нет, ждать на другой день в тот же час.

В девять минут десятого телефон зазвонил. Длинно, настойчиво, с паузами, как звонит только междугородняя. Андрей снял трубку с первого звонка.

— Омск? — сказала телефонистка. — Москва вызывает. Говорите.

В трубке зашуршало, щёлкнуло, и сквозь шорох пробился голос. Далёкий, сиплый, с задержкой, точно слова шли по проводу пешком.

— Алло. Внучек?

— Деда! — Андрей сам не ожидал, что голос у него сорвётся. — Как доехал?

— Доехал. Ничего. Дед прихворнул малость.

Старик дышал тяжело, часто, будто только что поднялся по лестнице. Или бежал. За его голосом гулко перекачивалось эхо большого зала, кто-то выкрикивал номера кабин.

— Тут сосед объявился, — сказал Андрей. — На базаре видел. Привет тебе передавал.

На том конце стало тихо. Только шорох и чужое далёкое эхо.

— Соседу привет не передавай. И к нему не ходи. — Голос стал твёрже. — Слушай. К вам туда дядя поехал. Тот, который посылки возит. Посылку он, растяпа, дома оставил. Ты уж присмотри, чтоб он там не заблудился.

— Уже приехал. Живёт у базара. Там, где сосед торгует.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.